

Евгений Клюев в 2010 году стал финалистом «Большой Книги» и «Студенческого Букера», занял второе место в читательском голосовании «Большой Книги» с романом «Андерманир штук».

ЕВГЕНИЙ КЛЮЕВ

# Translit

Нельзя менять мир по своему хотению... — по щучьему велению, может, и ладно бы, но для этого, во-первых, щуку иметь надо, а во-вторых, дураком быть, Емелей. Он щуки не имеет... так что вопрос, дурак он или нет, на фоне отсутствия щуки теряет смысл. Хотя, наверное, дурак. Только дурак без щуки, то есть совсем безнадежный: мало того что дурак, так еще и без связей. Интересная типология: дураки делятся на две основные группы — дураки без щуки и дураки со щукой...

В общем, не трогай тут ничего... не тобой положено — не тобой и возьмется.

# Евгений Васильевич Ключев

## Translit

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3023465](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3023465)*

*Translit: роман-петля: Время; М.; 2012*

*ISBN 978-5-9691-0753-3*

### **Аннотация**

Время в этом романе о путешественнике, застигнутом вулканическим облаком на пути из Москвы в Копенгаген, движется настолько хаотично, что пространство начинает распадаться на составляющие, увлекая героя в разные измерения его собственного «я». В каком из этих измерений – подлинное «я», какое из многих «я» доберется в конце концов до цели и какова вообще цель нашего путешествия через пространство и время – решать читателю. Предупредить же его следует лишь об одном: о необходимости быть очень внимательным к словам – в новом романе Евгения Ключева они имеют особенно мало общего с действительностью.

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

75

Комментарии

# Евгений Васильевич Ключев

## Translit: роман-петля

*Всё в этом романе, кроме имени главного героя,  
искусно вымышлено*

*Livet er en Snip-snap-snurre,  
Døden er dens Basselurre.  
Jens Baggesen<sup>1</sup>*

...сначала приходил голос. Сна он не разрушал – скорее, вплетался в сон, становясь одним из его волокон: «Скорый поезд “Москва – Хельсинки” прибывает к первой платформе. Стоянка поезда одна минута».

Потом прибывал и сам поезд – осторожно и медленно, как прибывает вода в аквариуме, когда наполняешь его через тоненький резиновый шланг, стараясь не пугать рыбок. Наконец поезд останавливался прямо посередине сна: голубой поезд, пахнущий цветами, названий которых здесь никто не знал. Наверное, их знали в хельсинках – том загадочном месте, куда поезд направится ровно через одну минуту и чье имя одновременно напоминает песенки и лесенки... только напоминает, не будучи ни теми, ни другими, а будучи – тайной. Это там растут цветы, которыми благоухает голубой поезд, – в хельсинках, населенном пункте *иной* страны, где живут *иностранцы*.

Слово *иностранцы* было прохладным и пугающим. На всякий случай он долго не произносил этого слова при людях – после того как однажды в разговоре взрослых услышал про Зою с соседней улицы, 1-ой Залинейной: связалась с иностранцем, вот дура-то, не понимает, что с иностранцами запрещено! Сам он, кстати, откуда-то еще раньше знал, что запрещено, и даже стал побаиваться смотреть на Зою – нечеловечески красивую девушку с печальным лицом. Чтобы, не дай Бог, не показать ей, что он все про иностранца знает, не смутить ее. Впоследствии Зоин иностранец оказался черным великаном в белых штанах, а потом Зоя пропала: шептались, будто великан Зою в свою иностранную страну увез и там *бросил*, а у Зои родился *черный ребенок*, вот ужас-то. Страшнее черного ребенка он ничего себе представить не мог, хоть мама, когда ей рассказали о черном ребенке, и спросила: «Ну и что?»

Он испугался за маму.

Потом как-то выяснилось, что, конечно, не все иностранцы черные и что в Финляндии, столицей которой как раз и были эти хельсинки-песенки-лесенки, иностранцы даже белее нас. И что поезд не голубой, а зеленый, и никакими цветами не пахнет. Однажды они с родителями приехали из Ленинграда, от дяди Сережи, это было ночью, и скорый поезд «Москва – Хельсинки» как раз стоял на противоположной платформе. И он подошел к поезду и увидел одного пожилого мужского иностранца, который курил трубку, смотрел

на него через открытое окно вагона и улыбался растерянной улыбкой. Пришлось вздрогнуть и быстро вернуться к родителям, разбиравшимся на платформе с тяжелыми сумками: сумки предстояло дальше нести на себе – правда, недалеко, десять минут пешком от вокзала.

Так что отныне, слыша сквозь сон скорый-поезд-Москва-Хельсинки-прибывает-к-первой-платформе-стоянка-поезда-одна-минута, он начал представлять себе зеленый вагон и пожилого мужского иностранца. И запах – не безымянных цветов, другой: легкий до неуловимости запах *инога*. Запах белых занавесок по бокам вагонного окна, серебряного поручня от одного его конца до другого, золотой цифры на двери купе – и дыма: пожилой мужской иностранец курил трубку с черносливовым дымом.

«От тебя пахнет сухофруктами», – сказала мама, когда он, спеша, подошел к сумкам и взялся за одну из них. Семена за мамой, обернулся: пожилой мужской иностранец чуть заметно помахал ему рукой и произнес что-то едва слышное – наверное, на *своем* языке. На своем *иностранном* языке. Видимо, что-то важное. От этого сделалось холодно в животе.

Боже мой, сколько раз он потом, уже пятнадцати-, шестнадцати-, семнадцатилетним, близко к часу ночи прибежал сюда, на первую платформу – и все пытался поймать тот черносливовый дым из какого-нибудь вагона! И глазами искал по окнам растерянную улыбку. И мечтал уехать отсюда, уехать

ко всем чертям – вот, спрятаться между вагонами, а там – на какой-нибудь багажной полке, за чемоданами...

И, не будучи обнаруженным, прибыть в Хельсинки, да.

И, разумеется, начать ослепительно новую жизнь, немедленно заведя себе пожилой возраст, растерянную улыбку и черносливовую трубку.

А вот... много ли можно успеть за одну минуту?

Можно успеть сосчитать до шестидесяти.

Или можно успеть опустить стоп-кран. Тогда поезд простоит дольше, минут на пять-десять, пока стоп-кран снова не поднимут. И за эти пять-десять минут... – за эти пять-десять минут можно выпрыгнуть из поезда и убежать ко всем чертям – вот, спрятаться в темных кустах, а там... Нет, какая же все-таки чушь лезет в голову! Ни одну минуту, ни пять, ни десять не на что ему употребить: он только что, три дня назад всего, был в этом городе, был и уехал, и приедет опять – хорошо, не раньше, чем через полгода, но приедет же! А потом – опять, и опять, и опять.

Происходящее же сейчас – оно... сверхпрограммное такое происходящее, которое ни в коем случае не произошло бы, не начни далеко отсюда извергаться вулкан с бесчеловечным названием. Ему, вулкану, и надо сказать... не спасибо, конечно, сказать, другое что-нибудь... за этот вот сюрреалистический – тайный! – проезд через родной город в час ночи скорым поездом «Москва – Хельсинки».

Дело было в маме. Маме, так и живущей в десяти минутах пешком от вокзала. Маме, три дня назад отпраздновавшей свой восьмидесятилетний юбилей, но все еще бодрой и невероятно дамистой... впрочем, дело сейчас не в этом. Дело в том, что мама, узнай она о его маршруте, обязательно пришла бы к поезду. В час ночи. На одну минуту. Вынести *такую* встречу с мамой было бы невозможно. Как и мысли о том, что после этого мама возвращается домой. Без него. В час ночи. И плачет.

Так что проезд через Тверь задумывался именно как тайный. Маме же он, понятно, наврал. На сей раз – что едет сначала в Германию, а дальше – прямо в Копенгаген. «Через Ютландию?» – подозрительно спросила географически подкованная мама. Понятное дело, через Ютландию! Ну и... стало быть, по маминым представлениям, сын ее сидит сейчас в скором «Москва – Берлин», только что отправившемся от Белорусского вокзала, между тем как на самом-то деле уже через час сын этот будет в десяти минутах от дома. В десяти минутах ходьбы пешком. На той самой, значит, первой платформе.

Он давно уже завел себе пожилой возраст. Завел растерянную улыбку. Не завел лишь черносливовой трубки, но это, может быть, впереди. Пока он, стоя в тамбуре, курит сигареты «Принц». Датские сигареты, не из Дании, конечно, привезенные: в Москве купленные. Почему, кстати, купленные – непонятно, но определенно не потому, что «соскучил-

ся по родному». «Принц» в Дании он почти никогда не курил – и не курил, скорее всего, из протеста: не хотелось становиться датчанином уж до такой степени. Впрочем, о степени говорить было, пожалуй, поздно: даже по паспорту он теперь датчанин. А не по паспорту... не по паспорту чуть ли не того определеннее: не просто датчанин, но еще и преподаватель датского языка... м-да, датского языка в Дании. В стране, где национальным языком определяется все – весь твой статус, вся твоя история, вся твоя жизнь. Иногда даже кажется, что от тебя тут и не требуется ничего, кроме языка: выучил – и умирай себе немедленно, ничего не надо больше, жизненная задача выполнена.

Но уж если ты датский выучил и не умер, а продолжаешь жить и преподаешь его... – тогда, выходит, ты датчанин в квадрате. Посему – кури «Принц», поддерживай национальную экономику. Но, вообще-то, он и сам удивился, услышав, как говорит киоскерше: пачку «Принца», пожалуйста, красного. Странно, кстати, что он не сказал этого по-датски: с него станется!

Ну и вот... он стоял в тамбуре и курил «Принц». И смотрел в темное окно, мимо которого просвистывали станции, чьи названия он знал наизусть, причем хоть в прямом, хоть в обратном порядке... интересно, сколько раз он уже проехал по этой дороге – то электричками, то дальними поездами с остановкой в Твери? На сей раз названий, правда, увидеть не удавалось: слишком скорый поезд... кстати, из «Сапса-

на», который еще быстрее, наверное, даже платформ не различишь.

Однако куда бы то ни было *проездом* через Тверь – это в первый раз. Раньше, когда надо было в Ленинград или в Таллинн (в те времена Таллинну вполне хватало и одного «н» – теперь же кажется, что и «т» надо бы удвоить, для полной симметрии), беспечно ехал в Тверь, к родителям, проводил у них сколько-нибудь времени – билет же до Ленинграда или Таллина... пардон, Таллинна покупался уже в Твери, там с этим просто было. Но так, чтобы стоянка-поезда-одна-минута...

В купе, кроме него, ехали швед (показалось, что где-то виденный прежде) и норвежец, тоже застигнутые в пути вулканическим облаком, плюс некий странный человек восточной наружности, говоривший на чрезмерно грамматически правильном и потому тошнотворном английском. С ним ему, к счастью, пока не пришлось побеседовать (обстоятельно поздоровавшись и заняв свое место у окна, тот принялся выстукивать что-то на своем ноутбуке и до сих пор так и не оторвался от работы), а со шведом и норвежцем уже перекинулся парой слов – по-датски, понятное дело... скандинавы этим особенно не заморочиваются: каждый говорит на своем языке – и все делают вид, что прекрасно понимают друг друга.

И, в общем, понимают, чего ж.

Он ужасно не хотел заводить разговоров с соседями, но,

услышав шведский и норвежский, вздохнул: не выкрутиться.

Впрочем, на время выкрутился, потому-то и стоял в тамбуре, куря уже четвертого по счету «Принца». В тамбуре ведь как: или кури – или не стой, не производи подозрительного впечатления. Правда, швед тоже был курящим: курил возле вагона перед отправлением. Так что не ровен час нагрянет – с обычным скандинавским «hvad så?», которое на русский кроме как «ну чё?» не перевести. Может, швед хотя бы мало курит... Да нет, курящие скандинавы – это он по себе знал – курят в России как... да вот хоть как эйяфьятлайокудли, причем не переставая удивляться дешевизне сигарет и стремясь, видимо, накуриться впрок. А потому – жди шведа, значит.

– Hvad så?

Шведа, конечно, звали Свен: как положено.

Они поговорили о вулканическом облаке и своих проблемах в связи с ним. Про нехорошее отношение Свена к облаку пришлось узнать всё. В ходе этого неспешного повествования, поезд, постояв на тверской платформе отведенную ему минуту, поехал дальше. Сердце мягко упало на дно живота.

До остервенения захотелось прирезать Свена, но, видит Бог, было со-вер-шен-но нечем.

Вместе, чуть ли не в обнимку, прошли в купе.

Потом удалось, конечно, выбраться назад, в пустой проход: зажмурился, ткнулся лбом в стекло. Черт, черт, черт! Как же получилось, что в Твери они так рано оказались? И

который тогда теперь час... двенадцать тридцать. Конечно, все давно изменилось в расписании поездов: чай, не Советский Союз больше. А он-то раз мечтался: стоп-кран!..

Позвонила мама, спросила, как ему едет. Он вышел в конспиративный тамбур и оттуда ответил, что едет хорошо и что в купе одни немцы. Мама успокоилась: по ее мнению, ни воров, ни убийц среди немцев быть не могло. Он, понятно, не стал ее разубеждать, пожелал спокойной ночи. И снова стал смотреть в темноту. Названий станций по направлению к Питеру он не знал – так что и не вглядывался. Просто регистрировал: тьма – маленький светлый прогон, станция, снова тьма – маленький светлый прогон...

Мимо шел проводник в черных кудрях и золотых пуговицах – на лбу надпись: гарный хлопец. Приостановился, чтобы улыбнуться интернациональной улыбкой, так что пришлось поспешно закурить «Принца» – гарный хлопец кивнул, все понял и бесстыдно сказал хай.

Ну, нехай хай.

От переизбытка дыма уже подташнивало. Поезд замедлил ход и притормозил у какой-то безразличной станции. «Лазурная» – проехало за окном. И – ударило прямо в сердце. Даже вспомнилось откуда-то из пионерского детства: «Но сердце забьется/, Когда я увижу/ Калинин, Калинин, мой город родной». Получалось, не проехали еще! Получалось, поезд в Клину приостанавливался: там вокзал на тверской похож.

Нет, дело, конечно, не в том, что он так уж без памяти любит этот город. Отнюдь, как говорили в старые времена... – не очень, правда, понятно, что конкретно имея в виду, но слово дивное. Тоски по месту бывшего обитания под названием Калинин, Тверь, он никогда не испытывал, по людям, очень некоторым, – да, но по *очень* некоторым. Сам же город... наверное, сам город засел в нем настолько прочно, что никогда и не ощущался покинутым. Это только сегодня почему-то вдруг необходимо было увидеть вокзал, постоять на первой платформе. Причем необходимо – позарез. По-зарез.

Поезд приближался к Твери: в окне был поселок Южный. «Спасибо, Бог», – сказала душа.

В этом городе он прожил тридцать лет: детский сад, школа, университет... Всего этого не будет видно в окно тамбура. Но будет виден старый вокзал и дорога домой: прямо и направо. Потом, когда поезд уже снова поедет, будут видны дома улицы Центральная, а дальше – маленький переезд, через который он ходил всю свою жизнь: это называлось «в город». Над переездом с детства висели щиты со странными приказами вроде «Стой!», «Пропусти поезд!», намекавшими на возможность бессмысленного состязания в силе между человеком и железнодорожным транспортом...

Так вот, маленький переезд, в самом конце которого – улица. Если бы их дом стоял на этой улице первым, его можно было бы даже увидеть – очень постаравшись, скажем.

Но первым стоял дом Кубышкиных, они давно переехали, и особнячок принадлежал другой семье. За ним – дом Марковых и Булановых (булановская часть полностью сторела в конце восьмидесятых). А дальше, третьим по счету – так прямо и называемый «родной дом». Дом, в котором он жил с двенадцати лет и в который все они переехали из одного близлежащего переулка... это дальше, совсем в глубине при вокзального поселка, не видно из поезда.

И чего-то требовало от него оно все – требовало или просило, непонятно.

Поезд – медленно, как в старом сне про аквариумный шланг – подбирался к третьей платформе, для электричек на Москву, платформа довольно быстро должна была перейти в первую.

«Скорый поезд “Москва – Хельсинки”» прибывает к первой платформе. Стоянка поезда одну минуту», – услышал он и скривился: новое время напомнило о себе простонародным винительным падежом, совершенно неуместным.

На этой платформе он – теперешний обладатель пожилого возраста, растерянной улыбки и паспорта другой страны – знал каждый сантиметр.

Ровно напротив, как и пятьдесят лет назад, стоял поезд из Ленинграда, напоминая всем вокруг о том, что существуют вещи, неотменяемые даже при смене государственных режимов, – например, расписание поездов. У одного из вагонов копошилась около сумок только что ступившая на тверскую

землю семья: родители и мальчик лет шести-семи – вдруг повернувший голову в сторону скорого поезда «Москва – Хельсинки»...

Пришлось вздрогнуть и зажечь следующего «Принца». Мальчик смотрел ему прямо в глаза.

Он попытался открыть дверь тамбура – дверь подалась.

Их разделяла только ширина платформы.

– Nej med dig, – сказал он негромко на совершенно иностранном языке. Мальчик поспешно отвернулся.

А минута не кончалась.

И, значит, все еще оставалась возможность дернуть стоп-кран.

Он оглянулся: стоп-кран находился близко – слева, прямо на уровне глаз – и сделал шаг назад.

1. Кто автор романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

2. Кем написан роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

3. Чьему перу принадлежит роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

4. Под чьим именем вышел в свет роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

5. Озаглавлен ли как-нибудь роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

6. Как называется роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

7. Какое название роману Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» дал сам автор?

8. Можно ли считать название романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» его заглавием?

9. Каков жанровый подзаголовок романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

10. Какой вывод о жанре романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» дает возможность сделать жанровый подзаголовок «роман»?

11. Можно ли на основании жанрового подзаголовка «роман» к роману Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» причислить роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» к романам?

12. Как называется город Копенгаген, где опубликован роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

13. Можно ли считать Копенгаген, указанный в качестве места издания романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О», местом издания романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

14. В каком Копенгагене вышел в свет роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О»?

15. В каком издательстве выпущен роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О», выпущенный в издательстве под названием «Специальное издательство»?

16. Как называется издательство «Специальное издательство», опубликовавшее роман Вибекке Овесен «Что случи-

лось с херром О»??

17. В каком году был издан роман Вибекке Овесен «Что случилось с херром О», изданный в одна тысяча девятьсот девяносто шестом году?

18. Почему в качестве года издания романа Вибекке Овесен «Что случилось с херром О» указан одна тысяча девятьсот девяносто шестой год?

19. Что случилось с херром О?<sup>2[1]</sup>

30 июля 1998 года, во время второго после эмиграции (хотел он или нет, а называлось это именно так) приезда в Россию, он гулял по Маросейке.

Конечно, он не мог не прийти сюда – на улицу, которая всегда была для него как бы особенно-Москвой. Не пройти по Маросейке означало не побывать в Москве. Позже он одно время даже недолго работал здесь... вход через ближайшую подворотню после второго перекрестка, если идти от Политехнического.

Тут, в двух шагах от его давно и, помнится, не особенно щедро оплаченной работы, он и увидел посреди тротуара Стину, что-то быстро заносившую в блокнот.

До этого он видел ее всего раза три: они собирались вместе писать одну глупую книгу о смешанных браках – по не очень понятным ему причинам Стина сама нашла его, предложила соавторство, он согласился, сильно сомневаясь то-

---

<sup>2</sup> Полные названия источников и соответствующих русскоязычных изданий даются в конце романа. – *Примеч. ред.*

гда как в своем датском, так и в своей осведомленности о смешанных браках. Они встретились около станции Нёррепорт, в кафе с довольно претенциозным названием... вроде бы, «Хромая собака» или еще какая собака, или не собака, он не помнил.

А на Маросейке, он было бросился к ней с намерением воскликнуть что-нибудь вроде привидение-скройся, да при тормозил у самого блокнота и – смутился. Стина подняла глаза.

– *Hvad laver du her?* – спросил он ее удивленно, хоть и почти сдержанно, а она, чуть опоздав шарahnуться от него, все-таки сделала попытку шарahnуться, однако устыдилась и тряхнула кудряшками:

– *Do you speak English, do you?* – Он узнал голос, но вдруг не узнал язык.

– *I do... sometimes,* – ответил он, дурак дураком.

Потом-то они, конечно, заговорили по-русски... когда все выяснилось, хотя слово «выяснилось» едва ли годится.

Стина оказалась не Стиной, а Мариной – и была не из Копенгагена, а из Москвы. И вообще она решила, что это у него такой вот способ знакомиться с девушками: творчески отредактированный вариант общераспространенного «мы с Вами где-то встречались». Самому знакомству она, похоже, и не думала противиться.

Предположить, что девушка морочит ему голову, было невозможно: Стина – во всяком случае, два месяца назад –

не говорила по-русски.

Он, разумеется, довольно скоро раскрыл карты: снип-снап-снурре, у Вас есть двойник в Копенгагене, и двойника зовут Стина.

– У каждого из нас есть двойник... не уверена, правда, что в Копенгагене, – философски отшутилась Стина... все-таки никак не получалось называть ее Мариной.

Конечно, у каждого есть двойник. И конечно, не у каждого в Копенгагене, что ж спорить. Вне всякого сомнения, он ошибся... обозначочки-перепряточки. Да и понятно: при таком-то шапочном знакомстве со Стиной он даже перед самим собой права не имел настаивать на том, что не обозначился. Кажется, у Стины и глаза другого цвета... и потом, Стина выше. Выше и моложе.

– Вы разочарованы, что я не Стина?

– Да Господь с Вами, что Вы... просто я совершенно ошеломлен. Сходством. Мне даже трудно называть Вас по имени.

– А Вы не называйте, – улыбнулась Марина. – По этому имени не называйте, говорите: Стина.

– Будет совсем глючно... Стина.

В Марине его интересовало только сходство со Стиной – при том, что в самой Стине его не интересовало (прости, Стина) ни-че-го. Тип «самостоятельная женщина» – это вообще не к нему, а Стина – и, определенно, Марина – явно таковы. Увидь он хоть в Копенгагене, хоть в Москве само-

стоятельную женщину – прошел бы мимо, глазом не моргнув. «Обеими ногами на земле» – говорят о таких женщинах в Дании... кстати, говорят как комплимент. Странный комплимент. Но в Дании много странных комплиментов. Например, «у него большая пробивная сила» – комплимент, «он думает о карьере» – комплимент, а вот «он просто ребенок» – вообще не комплимент, наоборот... осуждение.

– Вы сильно дружны с этой Стиной?

Ну вот, теперь объясняйся, что не очень и дружен, что объединяет их некий ненужный ему проект, который, скорее всего, не состоится... не состоялся уже, ох.

– Да, – ответил он... и поди пойми зачем. Наверное, для того чтобы не расставаться со Стиной. А не расставаться – для того чтобы разобраться все-таки, как могут два человека быть настолько похожими друг на друга. И он пригласил ее в кафе.

– Расскажите мне о Стине, – попросила она, не прикасаясь к кофе.

Вот тебе и раз. Рассказать о Стине он не мог: слишком уж мало знал о ней. Она говорила, что где-то учится – кажется, в университете в Роскильде, больше таким, как она, самосто-я-тель-ным, учиться негде: там университет такой... дико свободомыслящий.

– Стина свободомыслящая... почти упрямая, – сказал он. – Студентка. Учится в университете. В Роскильде, это город такой старинный, недалеко от Копенгагена. Учится на...

социолога.

В ответ улыбка:

– Я тоже на социолога.

Он затосковал. Зачем ему все это? Во-первых, то, что Стина учится на социолога, он только что придумал сам. Во-вторых, если Стина все равно не Стина, то совершенно безразлично, какие между ними еще совпадения.

– Вы-то почему на социолога? – Вопрос был почти невежливым.

– Мне... – немножко растерялась она, – мне интересно.

«Интересно»... Интересно потому, что ей интересно, или интересно потому, что она *как Стина* – то есть потому, что это *таким* интересно?

Он начинал запутываться... – может быть, покинуть уже эту речевую ситуацию под каким-нибудь – неважно даже, хорошим ли – предлогом? Все оно неловко как-то, глупо: остановил постороннего человека, запудрил мозги – зачем? Тем более что ни для кого из них ситуация больше не имеет значения. Здорово было бы вдруг встретить в Москве копенгагенскую Стину, но встретить в Москве москвичку Марину... – и что?

– Вам полагается все-таки хоть немножко рассказать о себе... просто из вежливости, – опять улыбнулась Стина.

А она милая, кем бы ни была.

И он начал рассказывать о себе – не так уж, конечно, чтобы прямо... одну из версий рассказывать начал. Версий та-

ких у него было много – и каждый собеседник получал наиболее пригодную для соответствующих условий. Это с тех пор как в первый приезд его остановил на Пушкинской кто-то из прежних, доэмигрантских еще, знакомых: привет, как дела?

И внезапно он не смог рассказать, «как дела». Потому что с момента их последней встречи жизнь изменилась – вся.

Но сказал, что дела нормально, спасибо.

– Работаешь все там же?

Там же – это где бы... ах, неважно, где.

– Да нет. Я и живу уже в другой стране.

Заявление, ясное дело, странное – он и сам понял, что странное: внезапное такое откровение в центре Москвы, на Пушкинской.

– В какой стране?

– В Дании.

– Да ладно прикалываться-то!..

И действительно: чего он тут стоит прикалывается? В Дании живу... надо же сказануть такое. Выглядит он, видимо, как человек, который глупо и немотивированно врет. Врет с какой-то, значит, особой такой стати, другим непонятной... И тогда он почувствовал, что вдруг устал, сразу. И что нет у него сил рассказывать этому знакомому... малознакомому, как оно все странно и быстро перекроилось и опять сложилось в его жизни, да и на кой ему вообще сдался именно вот данный знакомый-малознакомый!

– Ой, извини... неудачно получилось. Шутка-малютка. – Тут он даже улыбнулся (наверное, смущенно). – Я имел в виду, что район поменял. На Ждановской теперь живу.

– Далековато. Но там, конечно, метро, так что нормально. Ты позвони как-нибудь, встретимся, посидим... Телефон у меня старый.

– Я позвоню.

И они обнялись – как делают в Дании. Знакомый-малознакомый хотел, правда, смутиться от внезапной, как беременность, близости, однако права такого не получил, был быстро и правильно прижат к груди и похлопан по спине... и это его напрягло, ну и неважно. В России, кто ж не знает, так не обнимаются. По-хорошему, и им не надо было бы, но увы: датский рефлекс. Сначала его самого тоже, кстати, шокировала эта постоянная потребность датчан заключать друг друга в объятия, да еще и хлопками по спине угощать. Он однажды спросил: по спине-то зачем, дескать... Ответили: это снимает интимность. Ну понятно, чего ж.

В общем, новая Стина тоже получила одну из версий, которая покороче и самая нейтральная: пригласили-в-гости-задержался-остался-жить... – вроде той тети из Киева. Эта версия была, так сказать, дежурная – при том, что недежурной не имелось вовсе, поскольку *честно* рассказать о причине его отъезда не мог бы никто – и он сам не мог бы. Не было такой причины: оно как-то взяло и... отъехалось. А когда понялось, что отъехалось, стало поздно соображать

почему. Отъехалось – и все. Потом-то он, конечно, во славу дона Хуана, осуществил «перепросмотр жизни» – и нашел в ней кое-что... какие-то сигналы-кивки-экивоки: их при желании можно было бы счесть за знаки, но необязательно.

Так или иначе, Марине досталась хорошая версия – быстрая и никого ни к чему не обязывающая, в легком эстрадном жанре «всякое случается». Марина вполне и вполне удовлетворилась, но спросила вдруг:

– Вы женаты?

– Да, – соврал он. – А зачем это Вам?

– Так... просто я занимаюсь смешанными браками, тема у меня такая.

Ну и вот что было ему после этого признания делать?

Он ничего не стал делать – во всяком случае, не стал копать дальше. Аккуратно отставил лопату в сторону и в сторону же заметил:

– Нет-нет, у меня не смешанный брак. Я на русской женат. А Вам спасибо за эту встречу. Расскажу о ней Стине по приезде.

– Привет ей тогда... от одной Марины.

– Спасибо. И Вам привет от нее – досрочный.

А на другой привет и не рассчитывайте: мы вряд ли увидимся теперь со Стиной.

Так и вышло: со Стиной он больше не встречался.

– Ты не в Бресте еще?

Это мама в мобильном. Разве он должен быть в Бресте

сейчас... и вообще – в Бресте?

– Когда я в Польшу ездила, помнишь, поезд в Брест рано утром прибывал, а вы, что – задерживаетесь?

– Да нет, мы в Бресте по расписанию, дай-ка посмотрю... ну вот, через два часа. Я же позднее выезжал, чем ты. – Совралось почти легко, хоть и врасплох.

Но надо помнить теперь позвонить из Бреста, через два часа.

– Соседи новые не подсели?

– Нет, и не должны были... у нас ведь купе, как это, *укомплектовано*, все едут до Берлина.

– Потому что ведь... мало ли что. Я по телевизору видела, как грабят в поездах. Подсаживаются милые люди, предлагают выпить, а в бокале – снотворное.

«В бокале»! Эх, мама, мама... кто ж из бокалов в поездах-то пьет?

– Ты смотри не соглашайся ни с кем выпивать.

Можно подумать, что я такой... сильно пьющий.

У мамы обо мне вообще несколько тяжеловатые, на мой вкус, представления.

– Ты деньги-то куда спрятал?

– Мам... мне всему вагону об этом рассказать? Ты уж представляй себе как-нибудь ситуацию-то, а?

– Не надо на меня сразу обрушиваться, пожалуйста. Я просто позвонила тете Лиде, они с мужем тебя встретят в Берлине, чтоб ты там один не мотался. А тебе сейчас звоню –

захотелось узнать, когда прибывает поезд. Ну и... достаточно ли у тебя денег, потому что расходы-то все непредвиденные из-за вулкана этого!

– Денег достаточно, спасибо. Насчет же... когда поезд прибывает, я сказать не могу, он вне расписания следует, его именно для тех пустили, кто из-за вулкана застрял.

– Ты мне позвони, когда выяснится время прибытия, ладно?

– Конечно.

Вот тебе и раз... и другой, и третий. Интересно, что полагается делать в подобных случаях – если подобные случаи вообще бывают? Ан, похоже, не бывает подобных случаев.

За окном бесконечные ангары. Интересно, где они сейчас приблизительно? Ведь висит же тут, в вагоне, расписание какое-нибудь... кстати, вчера бы его посмотреть – хоть представлял бы себе этот маршрут, вслепую ведь едет! А между тем в Данию железнодорожным транспортом – впервые: все эти годы только самолетами и летал, два часа с небольшим хвостиком – и никаких ангаров.

В расписании значилось, что через полтора часа поезд прибывает в Выборг. В Выборг! Где Трубачевы живут... надо же было не подумать об этом, а? Трубачевы, с которыми он в последний раз виделся два года назад в Копенгагене и которые все время приглашают его в-Выборг-на-каникулы (какой Выборг, дорогие мои Трубачевы, когда у меня маршрут навеки проложен: Москва – Тверь – Москва, а шаг в сторону

– расстрел!) Вот бы и увиделся с ними на вокзале – тем более что стоянка поезда больше получаса.

Iz-za vulkana vozvrashajus' v Daniju na pojesde. Budu V Vyborge projezdom cherez poltora chasa... jesli vy, konechno, prosnetes' k etomu vremeni. Obnimaju rukami.

Он ненавидит писать русские смс-ки латиницей, именно что не просто не любит – не-на-ви-дит! Это какое-то надругательство над обоими языками, но русской клавиатуры на его мобильном нет. Потому-то он почти никогда и не пишет смс-ок... его тошнит набирать латиницей русские слова. Нет русской клавиатуры – не переписывайся на русском. Потому что транслит – это как протез, используемый здоровым человеком, не инвалидом то есть. Идет себе человек на двух здоровых ногах и держит в руке протез – третью ногу, искусственную: пластик цвета кожного покрова, обутый в башмак.

Когда есть возможность писать тем, кто хорошо знает какой-нибудь язык с латинской графикой, он просто пишет на этом языке, английском, немецком, датском – зависит от собеседника. Русскоязычные собеседники, кстати, считают его за это (и за это!) пижоном.

Никакой ответной смс-ки не приходит: спят Трубачевы богатырскими снами, да оно и понятно, седьмой час утра.

Значит, где-то здесь Россия начинает переходить в Финляндию. Интересно – резкий переход или нет? Впрочем, Выборг – это ведь Россия еще, рано, стало быть, относиться к окрестным пейзажам как к финским... да и вспомнилось

вдруг, что когда-то Выборг вовсе даже датским был – зачем вспомнилось? А в Финляндии он, значит, в двенадцать – и там его встретит одна девушка, Катя, знакомая чьей-то знакомой, чтобы доставить в порт и помочь купить билет на паром. Дальше милая – наверное – Катя предоставит его самому себе, такова, во всяком случае, договоренность: он предупредил, что хочет походить по Хельсинки один, потому как не любит смотреть новые места в компании. А Хельсинки – место новое, там он так никогда еще и не побывал.

Но вот как насчет тети Лиды и ее мужа... На самом деле мама вполне приняла бы объяснение в том же духе: нет, ради Бога, никакой компании, мне приятнее одному по Берлину болтаться.

В Берлине он, кстати, бывал раза три – каждый раз с компанией. Небольшой компанией – один-два человека обычно, но этого достаточно, чтобы уже ничего не видеть. Так что хорошо бы на сей раз обойтись без тети Лиды и ее мужа... хотя о чем это он? Он вообще не будет сегодня в Берлине, он возвращается через Хельсинки! Фу, черт, как оно все запутывается-то...

В окнах – Выборг. Местами сильно похож на специально раздолбанную кем-то Данию.

В проходе вагона – собака. Овчарка.

– Сейчас травить начнут, – говорит он Свену.

Свен не понимает, о чем он.

Тогда он достает книгу Жозе Сарамаго «Двойник» (один

цветок подарил перед самым отъездом, а какой цветок и почему цветок, не будем говорить, неважно это) и начинает читать описание тоскливой жизни некоего человека. Перевод, как и предупреждал цветок, плохой...

Странно, что ему подарили именно «Двойника». Именно накануне отъезда. Накануне *этого* отъезда.

Ммм... двойники.

Двойников обнаруживалось все больше и больше, но он, помня свой неудачный опыт со Стиной, к ним уже не подходил – просто наблюдал со стороны, пока была возможность оставаться рядом с наблюдаемыми. Почему-то двойники никогда не встречались в пределах одной страны – они возникали именно там, где их alter ego не могло и не должно было быть. Кстати, это и удерживало его от попыток вступить в контакт – самоочевидность, то есть, факта, что никакого Алексея Петровича Мезенцева не могло и не должно было быть в Брюсселе: Алексеи Петровичи Мезенцевы – люди старой закалки и по Брюсселям не ездят. А если закалке вопреки и приедут, то ведут себя в Брюсселях как туристы, а не как аборигены – с сумкой, полной овощей, с велосипедом, опытной рукой ведомым за руль, и с утренней газетой подмышкой.

В двух случаях сходство было сумасшедшим, в трех-четырёх мимолетным, но каким бы ни было – он всегда теперь знал, что это только сходство. Сходство – и ничего больше... у-каждого-из-нас-есть-двойник. Парочка двойни-

ков и у него самого была – ему с возбуждением рассказывали о них: нет-ты-подумай-только-один-в-один-ты-лицо-фигура-возраст-всё-манера-говорить-ходить-одеваться... А однажды предложили встретиться с таким двойником – и жилто двойник близко, в Питере, и даже сам желание увидеться выражал. Но он, ясен пень, отказался – вот еще глупости, друг на друга смотреть да сравнивать! Тем более что Борька как-то признался, словно в грешном: ему, оказывается, такое тоже предложили... ну, пошел, встретились – и, конечно, ничего общего, даже странно, что для кого-то сходство было очевидным. Правда, Борька-то известный скептик – на самом деле люди друг на друга действительно очень похожими бывают, тут и говорить нечего. Но, понятно, строить на этом что бы то ни было – дело пустое... хотя, конечно, со-блазнительно.

Он и за Алексеем Петровичем Мезенцевым – который, по совести-то говоря, при ближайшем рассмотрении не так чтобы уж очень на себя похож оказался – последил, не выдержал: как тот торговался на воскресном рыночке с зеленщиком, по-немецки, причем... смешно очень было.

– Вы разве, молодой человек, меня не помните? Я же каждое воскресенье сюда прихожу огурец у Вас покупаю... – говорил Алексей Петрович Мезенцев, приподымая шляпу.

– Конечно, помню, господин хороший, только ведь необязательно же знакомство скидку предполагает.

– Да разве в скидке дело, когда в прошлый раз я за тот же

огурец на целых сорок центов меньше заплатил!

– Так и огурец в два раза короче был, я те огурцы помню, они ж крооохотные!

– Вы бы тогда мне лучше сказали, что он крохотный, я бы и брать не стал.

– Сами-то Вы разве не видели, что – крохотный?

– Видел, конечно, однако Вы настаивали, что такие огурцы крупнее не бывают – не помните?

– А вот этого – не помню, клянусь Вам, господин хороший! Из-за симпатии к Вам двадцать центов скину, зато уж больше – извините.

И, засунув в сумку чуть ли не полуметровый огурец, Алексей Петрович Мезенцев весело покати́л велосипед дальше.

Перепробовав весь мед у продавцов меда, все паштеты у паштетников, все сыры у единственной, но очень полной сырницы, словно врач, закончивший обход, огляделся по сторонам и проворчал что-то вроде:

– Маленький рынок сегодня, невыразительный.

У выхода встретился с приятельницей (видимо) – фарфоровой статуэткой полупреклонного возраста, которой, кажется, отсоветовал на рынок идти: во всяком случае, тут же и пропали они в арочке... а за арочкой столики оказались бедного вида, клеенкой покрытые. Там пара и примостилась: Алексей Петрович Мезенцев – пива выпить, спутница его – соку апельсинового.

А он через столик от них присел.

Похоже, Алексей Петрович в любви признавался, между тем как спутница кокетничала – говорили по-французски, мало чего понятно. Но ощущение было – полного прелюбодения, и стояла перед глазами Нинель Рувимовна, вообще не фарфоровая, а ситцевая такая... ее вечные чайку-разве-не-попъете и плоские домашние печенюшки. С «нашей женой», Нинелью Рувимовной, он, собственно, не в первую очередь дружил – он в первую очередь дружил как раз с Алексеем Петровичем, патентованным изобретателем всяких глупостей и мастером на все руки. Тем более что когда-то Мезенцевы его соседями были, давно – лет семь назад на тот момент или больше.

Нинель Рувимовну – на фоне, стало быть, фарфора, тонкого и определенно весьма дорогого, особенно в интерьере с клеенками – было ужасно жалко. Фарфор пригубливал апельсинового соку, а соку в вытянутом стакане не убывало – казалось, даже, наоборот, прибывало, настолько не вязалась с этим божьим одуванчиком сама идея *поглощения* чего бы ни было.

Между тем Алексей Петрович Мезенцев уже вынул из нагрудного кармана мобильный телефон и начал тыкать пальцами в кнопки, объясняя, видимо, божьему одуванчику преимущества мобильной связи при отсутствии непосредственно личной. Каждое движение Алексея Петровича сопровождалось одуванчиковым легким смехом: одуванчика, кажет-

ся, ужасно веселили только появлявшиеся тогда мобильные телефоны. Впрочем, седые головы их были совсем близко, почти вплотную друг к другу, и в глазах у обоих – счастье.

А вот то, что он тогда – просто из какого-то общего протеста по отношению ко всему сразу – выхватил вдруг свой мобильный телефон и набрал московский номер Алексея Петровича Мезенцева... это, конечно, было глупо. Трубку сняла Нинель Рувимовна, сразу спросив, откуда он звонит. Когда узнала, что из Брюсселя, рассмеялась:

– А ведь Алексей Петрович где-то там близко от Вас... в Швейцарии, это ведь близко? Вдруг какое-то старое его изобретение обсуждать начали, его и пригласили. Уже неделю я без него...

Близко или не близко, но – Европа, в Европе всё ко всему близко. Причем за неделю эту вон сколько Алексей Петрович успел: и в Бельгию сиганул, и два языка выучил, и огурец полуметровый купил, а уж меду-то перепробовал... и старушке фарфоровой голову теперь кружит, хорош изобретатель! *Наши* Алексей Петрович ни за что бы столько всего не наворотил: медлительный больно.

Ох, сходства, сходства, сходства... шутит природа. Налепит людей одинаковых, раскидает по всему миру и забудет. Иди потом собирай после нее. Добро бы по два лепила, а то ведь – сказать смешно! – Алексея Петровича, другого уже, но даже более похожего, он ведь потом еще раз видел – в Латвии. Из автобуса, правда: шел себе будто бы Алексей Петро-

вич по Риге и собачку постороннюю на поводке вел... беспородная собачка – «уличный перекресток», как в Дании говорят. Сам же Алексей Петрович – вылитый Алексей Петрович и есть, штаны только клетчатые... *наш* бы, опять же, ни в жизнь таких не надел. А этот – пожалуйста: надел и – с собачкой гуляет!

И сколько их таких алексеев Петровичей мезенцевых по свету мыкается – поди знай...

С песней одной еще забавно было – с датской. Поют, значит, песню по радио – «Габриэль» называется: «Габриэль, – поют, – настанет лето, выглянет солнце, когда ты придешь...» – и так далее, а мотив – «Пусть всегда будет солнце», он запевалой эту песню в клубном хоре пел: «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки» – вот и пойми, чья песня на самом деле! Сходства, сходства...

«И чего ты с этим носишься? – спросил как-то Торкульф. – Уж насчет людей-то понятно: архетип общий. Обезьяны друг на друга все похожи – не отличишь. Неандертальцы тоже были похожи, небось. Это только потом архетип стал варьироваться, когда люди придумали разные слова для разных проявлений жизни – под слова эти и начали подстраиваться вариации: новое слово – новая вариация. Но варьирование до бесконечности, оно даже теоретически невозможно! Придумать новое слово – дело трудное».

Кому как не Торкульфу в таких вещах разбираться: мистик, хоть и доморощенный, норвежский... впрочем, в Нор-

вегии большинство мистиков доморощенные, это во-первых. Во-вторых, доморощенные мистики – они самые сильные мистики и есть.

Герцог Мальборо идет на войну, миронтон-миронтон-миронтэн, вот идет он, значит, на войну... – и незнамо когда вернется, незнамо когда вернется, незнамо когда вернется!

Ах, даст Бог, он вернется на Пасху, миронтон-миронтон-миронтэн, он, конечно, вернется на Пасху или на Троицын день, или на Троицын день, или на Троицын день.

Между тем Троицын день уже проходит, миронтон-миронтон-миронтэн – Троицын день уже, стало быть, проходит, только герцога нет как нет.

Тут мадам поднимается на башню, миронтон-миронтон-миронтэн, тут мадам поднимается на башню, на самый-пресамый верх.

Ах, не паж ли ее скачет с известьем, миронтон-миронтон-миронтэн, да конечно, это паж ее с известьем, он весь в черном с головы до ног.

Милый паж мой, мой паж драгоценный, миронтон-миронтон-миронтэн, милый паж мой, мой паж драгоценный, что за новости ты мне везешь?

Везу новости хуже не бывает, миронтон-миронтон-миронтэн, везу новости хуже не бывает, плачьте, рыдайте, госпожа!

Не носить Вам больше алого платья, миронтон-миронтон-миронтэн, не носить Вам больше алого платья, не носить

больше вышитых шелков.

Герцог Мальборо мертв и похоронен, миронтон-миронтон-миронтэн, герцог Мальборо мертв и похоронен, он в земле похоронен чужой.

Ах, я видел, как несли его к могиле, миронтон-миронтон-миронтэн, ах, я видел, как несли его к могиле – четверо офицеров несли.

И один из них нес его доспехи, миронтон-миронтон-миронтэн, и один из них нес его доспехи, а другой – его сияющий щит.

Третий нес его праведную саблю, миронтон-миронтон-миронтэн, третий нес его праведную саблю, а четвертый не нес ничего.

У могилы, госпожа, у могилы, миронтон-миронтон-миронтэн, у его осиянной могилы посадили, госпожа, розмарин.

А на самой высокой ветке, миронтон-миронтон-миронтэн, а на самой высокой ветке сладкогласный распевал соловей.

И я видел, как душа господина, миронтон-миронтон-миронтэн, и я видел, как душа господина между лавров поднялась к небесам.

Что же после... а после погребенья, миронтон-миронтон-миронтэн, госпожа моя, после погребенья все отправились, значит, на покой.

Кто с женою в постель, кто с подругой, миронтон-мирон-

тон-миронтэн, кто с женою в постель, кто с подругой, а уж кто одинок – тот один.

И теперь, госпожа, я умолкаю, миронтон-миронтон-миронтэн, и теперь, госпожа, я умолкаю, ибо хватит и того, что сказал<sup>[2]</sup>.

– Мама, я в Бресте.

– Ну, слава Богу.

Он даже нарочно потянул время – чтобы правдоподобнее получилось: подменив таможду в Выборге брестской и ни разу при этом – Выборгом – не проговорившись. Про собаку рассказал, овчарку. Как она их купе проигнорировала – с некоторой даже надменностью мимо прошла, на дверной пролет и не взглянула: дескать, не ради вас я здесь, а вы поезжайте, куда едете – и с дружеским, так сказать, приветом. Зато у соседнего купе в стойку стала – и ни с места. Разноязыкие таможенники, понятно, шмонать принялись... разговоры по-русски, шуточки всякие, что-то нашли, увели кого-то куда-то разбираться, вернулись все вместе, таможенники шмонали дальше.

– Так ты в Берлине-то когда?

– Мам, я тебе не скажу когда. Во-первых, сначала Польшу надо проехать. А потом... вообще ни к чему, чтобы меня встречали, мне это в тягость, я лучше один по городу похожу – или... или у меня и так есть с кем встретиться, не надо тетю Лиду.

– Я, между прочим, хотела как лучше.

– Да понятно, что как лучше... кто бы сомневался. Но ты ж знаешь, я не люблю с сопровождающими, мне все такое мучительно. И, пожалуйста, не решай за меня, что мне надо, что нет, я сам как-нибудь, договорились? Потом, у меня немецкого языка полон рот, а тетя Лида с мужем... и с их общим инвалидным немецким – мне зачем?

– Как «инвалидным»? Они там столько лет прожили, в школу языковую оба ходили!

– Это тоже понятно, только... позвони ей, пожалуйста, и скажи, что меня приятели встретят.

– У тебя разве есть приятели в Берлине? И что за люди... если я могу спросить? Какой национальности?

– Да у меня везде приятели! Люди как люди, немец на немце и немцем погоняет.

Короче, с мамой разобрались. Мама, понятное дело, несколько рассердилась, но это пройдет. Он позвонит ей из Берлина, сядет вот в кафе где-нибудь на Унтер-ден-Линден, возьмет один большой кофе со сливками и два круассана, сигаретку закурит – и позвонит. Не может быть в Германии такой же дурдом с курением в общественных местах, как в Дании. Времени у него там часов семь, надо стену, ди Мауэр то есть, найти... теперь уже трудно найти, наверное, и следов, поди, не осталось, и —...что он несет? Он не будет в Берлине! Он в Хельсинки через два часа будет, чтоб ему пусто... Где некая милая Катя поможет ему выкупить билет на паром, билет уже заказан – спасибо той же Кате... правда,

билет бы он и сам выкупил, по-английски-то ведь говорят они там, в Финляндии, учат же они английский, понимают, что на финском далеко не уедешь – даже за пределы страны не выедешь, так чего помогать билет-то выкупить? Впрочем, спасибо, конечно... А в Берлине он не-бу-дет!

Он уже поговорил по телефону и со своими: пятеро (трое в Москве, двое в Копенгагене) были в курсе настоящего – настоящего? – его маршрута. Остальные – как менее свои, так и вовсе не свои – знали версию «Москва– Берлин – Копенгаген», на их звонки он не отвечал. Свои нервно смеялись – то есть, московские свои, конечно: мама звонила им каждый час в надежде получить альтернативные сведения. Альтернативными сведениями могли быть сведения о том, что ее сына:

- а) уже ограбили, но еще не убили,
- б) уже убили, но еще не ограбили,
- в) уже и убили, и ограбили.

Альтернативных сведений, впрочем, никто не поставлял – все дудели в одну дуду: едет прекрасно, время прибытия куда бы то ни было неизвестно, поезд особый, вокруг одни немцы, каждый стар и благовоспитан, в купе вслух читают Гёте и Рильке, пьют швепс и едят марципан. Дольче вита, а не... вита!

Правда, Лика, чуть не плача, только что рассказала по телефону, как у нее с языка – ну просто сам собой! – сорвался Выборг, но мама ничего не заметила. Бедная наивная Ли-

ка!.. Мама, говоря совсем между нами, замечает всё и гораздо больше. Не сомневайся, Лика: мама заметила и то, что ты проговорила, и то, что, проговорившись, испугалась, но понадеялась, что мама ничего не заподозрит, все-то мама заметила и только, стало быть, идя навстречу твоему желанию, сделала вид, будто ничего не заметила... А весь ужас ситуации в том, что мама же воспитанный человек и ни в жизнь не унизится до сказать: разгадала я, дескать, все твои нехитрые стратегии, Лика, и сейчас стану тебя в лужу прямо носом тыкать – чтобы впредь неповадно! Ничего подобного мама, кстати, и по отношению к нему не делала: даже в самом раннем детстве и никогда после. Так что опасности никакой, бедная наивная Лика... просто отныне все мы под подозрением. Под ба-альшим подозрением.

Кит тоже звонила минут двадцать назад: спросить, не очень ли мучит раздвоение личности.

– Очень, – признался он ей – первой.

– А позвонить маме и рассказать всё?

– «Всё» – это... и про уже миновавшее, и про только еще предстоящее? Как насчет беспризорного дня в Хельсинки, насчет ночного парома, насчет вынужденного многочасового простоя в Стокгольме, насчет ночного же поезда до Мальмё?

– Нет, – вздохнула Кит. – Так ей и правда многовато, пожалуй, покажется. Ну, терпи тогда... потребуется помощь – обращайся!

– В смысле – за терпением?

– Можно и за ним, но лучше – за справкой, звонишь и докладываешь: земля, земля, дайте координаты, не помню, где нахожусь!

Ей бы все шуточки, а между прочим, что касается последнего Берлина, год назад, то последний Берлин он, например, уже весьма и весьма избирательно помнил. Ибо – сказать совестно (мама, заткни уши!) – был в последнем Берлине все время настолько пьян, что вопрос местонахождения почти утрачивал смысл. А почему пьян... да как тут объяснишь... дело не в том, что такая страна Германия, пиво и прочее. Кстати, пива он терпеть не мог. Просто они с Фердинандом и Фердинандовой новой тогда подружкой Амалией (имена гротескные, но ничего не поделаешь, бывают родители со странными номинативными предпочтениями), постоянно заходили греться – из-за него, гостя, между прочим, потому что это он, а не они, был в пижонском пальтишке не по возрасту (всё в нем не по возрасту, стыд и срам). Пальтишко вполне годилось в Копенгагене, не устающем убеждать себя, что на датскую погоду влияет Гольфстрим, но в Берлине, которому что Гольфстрим, что мэйнстрим – по барабану, сделалось слишком тонким, слишком коротким, слишком молодежным... на Фердинанде и Амалии, правда, и вообще только виндбрейкеры были, но им-то, каждому, чуть за двадцать, какие проблемы!

Короче, замерзал он один. Пошли было на второй день

купить что-нибудь потеплее, но вместо кламоттен или в этом роде он купил на все наличные, порядка тысячи евро, три кашне от Burberry, после чего покупать кламоттен почему-то уже расхотелось. Зато он каждый день щеголял в новом кашне – оценить новинки могли бы только видевшие его ежедневные преобразования Фердинанд и Амалия, но тем было плевать на Burberry.

Греться забегали куда приходилось, а приходилось в основном туда, где пиво... в общем, не очень хорошо. А вечером, конечно, кабаре – иначе Берлин не Берлин... то есть, опять же горячительное, и, в общем, к ночи он уже лыка совсем не вязал, Фердинанду же и Амалии – хоть бы что, им Берлин нипочем. Он помнил, как кричал у Бранденбургских ворот, что хочет остаться в этом городе навсегда, и как разумница-Амалия, водя пальчиком по одному из Burberry, убаюкивала – чеховской такой героинечкой – его возбуждение: «Вам нельзя здесь, Вас здесь сломают, Вы тонкий, славный, Вы лучше приезжайте чаще... и опять уезжайте, приезжайте и уезжайте, приезжайте и уезжайте...»

В одном из клубов кто-то был опять на кого-то похож – ну, девушка одна, ну, на Лену, однокурсницу его университетскую... – он тут же, спьяну, коротко поведал Фердинанду и Амалии о своих наваждениях, показал Лену. Фердинанд, душа-человек, без раздумий бросился ее очаровывать, Амалия скрестила пальчики, чтобы удалось... Потом Фердинанд вернулся с якобы Леной, звали Сара, сходства никакого –

пива пить меньше надо, сказал он в сердце своем, Лену отпустили, позор.

– Не огорчайтесь, так оно и должно было кончиться, – хлюпала носом Амалия, – я сразу подумала, что Сара не может быть Ваша однокурсница, иначе ей столько лет, сколько Вам, было бы... странно ведь, если Вы старились, а она не старилась все это время!

И правда – странно. Вот об этом он, кстати, почему-то никогда не думает: его наваждения как бы не имеют отношения к времени. А ведь и впрямь люди, двойников которых он встречал то тут, то там, разумеется, должны были меняться: его сокурсница, несомненно, не могла сегодня выглядеть так же, как тридцать пять лет назад...

А Фердинанд и Амалия между тем – наверное, тоже после пива – сильно прониклись идеей двойничества.

– Конечно, – философствовала Амалия, – Ваш Торольф прав, бесконечное варьирование невозможно, особенно если учесть, что варьирование происходит вокруг одного и того же архетипа.

– Амалия, – обнимал он ее, – Вы тоже доморощенный мистик?

– Что такое «доморощенный»? – не понимала Амалия. – Мне кажется, мистика так не делится – на доморощенную и какую-то еще.

Делится, делится, милая Амалия... Есть мистические традиции, старые как мир, даже старше. Хорошо разработанные

мистики, со множеством адептов, ритуалов... и адепты понимают, вокруг чего мистики построены, знают, куда они их приведут.

– Тогда это уже не мистика, тогда это уже игра...

Разумница-Амалия... знаний бы ей побольше.

– Вот Ваши двойники, тройники... – это доморощенная мистика?

Это вообще не мистика, разумница-Амалия... это так, заблуждение ума, оно пройдет, когда-нибудь пройдет, в один прекрасный день пройдет. Это из ряда фантазий моей мамы: что сына-убьют-и-ограбят, правды в маминых фантазиях не больше, чем в моих наблюдениях... все глупость и глупость. И – застрявшая строчка из Пастернака, забыл из какого стихотворения, всегда хотел уточнить, времени не было: «...на ходу на сходствах ловит улица...», два раза «на», не очень хорошо, но *как* точно!

Это случается только в городах: феномен двойничества такой же продукт цивилизации, как и... как и все остальное. Странно было бы ожидать подобных встреч прежде, в далеком прошлом человечества: и жили в основном по деревням, и ездили меньше и дольше – шанс увидеть себе-подобного, ему-подобного, ей-подобного невелик был. Это сегодня... цивилизация, глобализация, экстерииоризация, полтора часа – и другая страна, несколько часов – другой материк. Плотнее живем, разумница-Амалия, все в куче, всё в куче – камешки общего узора, ка-лей-до-скоп. Не успел опомнить-

ся – выходи из самолета, ступай на новую землю... понятия «расстояние» нет больше, время не сильно разделяет – оно, скорее, соединяет.

В общем, пьяные одни разговоры – и с кем? Чуть ли не с тинейджерами... откуда им что знать!

А вот Берлин – Берлина он не помнил: ни где ходили, ни что видели... между тем как и ходили, и видели. Но с таким же успехом это мог бы быть Мадрид, причем Фердинанд и Амалия были бы тогда Фернандо и Амариля, неважно.

С Манон опять тогда не встретились... жалко.

Я-сама-объявлюсь-ладно?

Ладно, Манон, ладно.

Он воспитанный человек. Он знает, что от него требуется в таких ситуациях. В таких ситуациях от него требуется «уйти под землю», так называют это датчане.

С тех самых пор он живет под землей.

«И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли».

А за окном поезда между тем определенно уже Финляндия: русский язык давно пропал со всех табличек.

Незадолго до прибытия в Хельсинки позвонил Торурьфу, все рассказал.

– А чего ты взволнованный такой? – спросил тот.

– Разве взволнованный? Нет, по-моему...

– Да страшно просто взволнованный, голос дрожит, язык неточный! Казалось бы, не впервой маме наврал, насколько я тебя знаю...

– Просто мне в пути три дня быть – и врать через каждые два часа требуется, мы созваниваемся постоянно.

– Зачем?

– Маме так надо – иначе она беспокоится. Скоро, например, буду звонить ей опять. Из Берлина.

– Ты, смотри, не заиграйся там весь, – предупредил Торкульф. – Опасно может быть.

– Что опасно?

– Со словами играть, чтоб тебя!.. Не нравится мне, что ты такой взволнованный. Приедешь в Хельсинки – водки выпей. Хотя там, вроде, сухой закон...

– Я в Берлине выпью, Там нет сухого закона.

– Вот я и говорю, опасно.

Торкульфу он, кстати, звонит довольно часто, а вот видятся они совсем редко. При этом ближе, чем Торкульф, у него почти никого и нет. У Торкульфа ближе, чем он, нет совсем никого, но так или иначе, а их немыслимая близость не требует подтверждений. Они живут в разных странах, на расстоянии в пару-тройку тысяч километров – и, по совести говоря, общего у них мало. Торкульфу порядком за семьдесят, и он просто старый брюзга. Старый брюзга и органист в далекой не только от всего мира, но, кажется, и от всей Норвегии церкви, на самом северо-востоке Скандинавии. Торкульф ненавидит города – понятие «город» как таковое ненавидит. А любит солнце, горы, море, деревья, траву, птиц... все эти долбаные восходы-закаты, приливы-отливы, прилеты-отлеты.

Между тем как сам он любит города, любит Город – город-понятие, а то, что любит Торульф, иронично называет «родная природа» и терпеть не может.

Но Торульф имеет власть над ним. Страшную, сказать по совести, власть, причем даже неизвестно, отдает ли себе в этом отчет сам Торульф. Если завтра Торульф распорядится: «Поезжай в Зимбабве и проповедай там вегетарианство» – придется, наверное, ехать. Правда, Торульф никогда не отдает распоряжений, даже советов – и тех не дает.

Это Торульф сказал ему: «Возраст, мой дорогой. Я часто думаю о том, что видел уже гораздо больше, чем мне предстоит увидеть, – видимо, скоро ты тоже будешь вынужден признаться себе в этом. А оно как раз и означает, что место памяти начинает занимать историческая память».

Торульф постоянно пишет книги и никогда не издает их. Он пишет книги для себя. В тетрадях, удивительным своим – тончайшим, разборчивейшим – почерком. Причем всегда – несколько книг одновременно. Одна из них называется «Историческая память».

Если бы не знать, что он пишет книги для себя, можно было бы цитировать фрагменты оттуда... А так – можно только пересказывать, но разве перескажешь?

Вот хоть и про историческую память. Именно там, в этой книге, говорится, что наиболее важное отличие людей от прочих живых существ – наличие исторической памяти, со временем, по мере всплывания на поверхность тех или иных

слов, начинающей развертывать перед нами свои картины. Как будто целую жизнь мы набираем впечатления, не отдавая себе в этом отчета и не запоминая, но регистрируя все, с чем соприкасаемся... и вот, в определенном, позднем, возрасте зарегистрированное в течение многих и многих лет вдруг начинает словно бы проявляться – проступать на поверхности, все чаще напоминая о себе. Потому-то и отказывает вдруг так называемая актуальная память – память о ближайших событиях нашей жизни, которые мы уже устаем обозначать словами. Зато историческая память – она торжествует. Все, о существовании чего мы даже не подозревали, но что, тем не менее, было сохранено в нашем сознании в виде слов, внезапно словно озаряется светом – и мы *начинаем припоминать*: имя человека, имя ситуации, имя места... мы-с-Вами-где-то-встречались!

С другой стороны, есть, говорят, даже одно психическое расстройство, при котором человек помнит то, чего не было... жуткое такое расстройство, если, конечно, так действительно бывает. Как же не бывает: с ним уже не раз и не два случалось! Ну и... видимо, скоро он начнет подходить к посторонним и убеждать их в том, что знаком с ними. И люди станут шарахаться от него...

Кстати, однажды в Копенгагене он видел умершего на тот момент (причем тогда уже пять лет назад как умершего!) знакомого – знакомого из ближнего Подмосковья. И – всплывшего вдруг снова, в зауряднейшей ситуации покупки

воскресных булочек в кондитерской на Мимерсгаде. Умерший задержал на нем взгляд – и вспомнилось... слово вспомнилось: Ро-зен-кранц. Пришлось сказать: добрый день. Привет-привет, ответил Розенкранц и смутился. И заказал шесть булочек – явно, стало быть, не только для себя. Между тем как у умершего *никого больше не было*. Прежде не было... а теперь – было?

Едва ли это проделки исторической памяти: с ней все, вроде бы, в порядке: историческая память рисует похороны Ро-зен-кран-ца – похороны, на которых он присутствовал.

Да нет, нет и нет... обозначки-перепряточки! Иначе, конечно, и быть не может. Это он сам послал умершему взгляд – тот и ответил: продолжительным взглядом, взглядом в самое сердце, ах, забыть, забыть, ничего не случилось, ничего не было, у-каждого-из-нас-есть-двойник, азы даже не доморощенной, а просто бытовой мистики. Открой, вон, Сарамаго – и читай.

Сколько уже раз это случилось? Да не так уж и много раз... если учесть, что в Дании он целых четырнадцать лет прожил. Была, значит, Стина, затем был этот, как его, Ольсен... да, Арне Ольсен из одной случайной ютской компании, они еще попереписывались немножко в дальнейшем, потом – умерший знакомый с шестью булочками, потом – Алексей Петрович, дважды... правда с перерывом (в год, кажется). И еще Лизелотте – смешная толстая Лизелотте, промчавшая мимо него в окне такси и даже помахавшая ру-

кой... в Ростове-на-извините-Дону, где делать ей было нече-го! Ну и, кроме Лизелотте, еще двое... ммм, неважно кто – важно, что двое. Итого семеро. Семеро за четырнадцать лет. То есть с периодичностью раз в два года. И чего, спрашивается, тогда огород городить? Если и бред, то пока не сильно систематический!..

Да, плюс одна из его студенток, невероятно похожая на дочь Соколовых... м-да, какой та была лет двадцать назад, но другой он ее и не помнил. Студентка была из Сербии, звали Йованна.

Впрочем, это если только людей брать, потому что есть ведь еще и другое. Есть места... есть книги, есть музыка, есть какие-то – разные! – предметы. Хорошо, не будем о предметах. Достаточно вот просто мест... вот просто и Хельсинки, плывущего за окном поезда. Он, оказывается, *знает* этот город. Он еще не вышел на перрон, но довольно и того, что плывет за окном: плыло уже, плавало уже! Причем не в детском сне о хельсинках плыло, Бог с ним, со сном, в снах много чего плавает, за всем не уследишь... а так, перед глазами.

Катя оказалась и вправду милой – милой стеснительной девушкой, совсем молодая, хорошенькая... Вы и есть такой-то? Именно такой я и есть. Повезла его через центр – Катя, это ведь русская церковь, слева? – Откуда Вы знаете? – Да знаю откуда-то... – и дальше, к порту, к неменяемых размеров парому, уже стоявшему наготове, хотя отплытие назначено на вечер. Выкупили билет, посидели в портовом кафе,

обнялись на стоянке, расстались.

Хельсинки был просто маленький Питер.

Он отправился гулять – медленно, со вкусом. Мимо питерских домов – домиков в сравнении с Питером. Не на лингвиста ему следовало в свое время учиться, а на историка архитектуры, откуда-то было в нем всегда знание этих вот балясин... аркубанов, люнетов, закомар – того, что полагается историку архитектуры: требовалось лишь систематизировать разнообразные «балясины», распределить по ящичкам, повесить этикетки, пронумеровать. А он отправился на филфак – да на русское отделение... хоть бы тут ума хватило или, как ее, дальновидности – германское выбрать! Понятно же было, что рано или поздно жить ему предстоит в германоязычной стране – неизвестно только, в какой. Но определенно в германоязычной, хоть и необязательно в немецкоязычной – пусть немецкий язык и проснулся в нем уже годам к двенадцати полностью, во всем богатстве своей изощренно-тяжеловесной грамматики.

Финский же народ по-немецки, как выяснялось, почти не умел, зато по-английски более чем охотно направлял его туда, куда ему хотелось. Английский был то легкий, у молодежи, то несколько помпезный, у людей пожилых – со всеми этими *would you mind* и *my pleasure*, но навигировать по Хельсинки – хельсинкам... песенкам, лесенкам – оказалось легко и беззаботно. Легко и беззаботно плыл он, осторожно подталкиваемый в спину ветерком, который, хоть и не гово-

рил по-английски, но места знал не хуже аборигенов... плыл до тех пор, пока не остановился – как в землю врос: черносливовый дым. *Уже?*

Черносливовый дым словно накинул на него петлю, дыхание оборвалось: Калинин-вокзал-возвращение-от-дяди-Сергеи-сумки-на-перроне-от-тебя-пахнет-сухофруктами-bye-bye-boy... наконец-то он разобрал эти слова – пятьдесят, значит, лет спустя. Песенка из хельсинок, из скорого поезда «Москва – Хельсинки», песенка, почти напугавшая не то изысканной своей фонетикой, не то безупречной ритмикой... тогда он и представить себе не мог, что песенка состояла из английских слов и что у слов был смысл... Он никогда в жизни не пытался их вспомнить и не думал, что это возможно. А вот – поди ж ты: вспомнил вдруг... в присутствии чернослива.

Bye-bye-boy.

Ему наконец снова удалось вдохнуть – даже не вдохнуть, а глотнуть воздуха: огромный глоток, в котором, слава Богу, еще оставалось немножко чернослива... теперь-то уж он не упустит этот дымок!

И он пошел за дымком, тихонько вившимся впереди, – осторожно, но чуть ускоряя шаг, как хорошая ищейка, напавшая на след. Сначала запах тянулся ленточкой, потом начал свиваться в клубок, становился все круглее, все отчетливее – клубок катился прямо и прямо, свернул в горбатый переулочек, весело побежал вниз и вдруг замер. У небольшого,

красного цвета дома – вернее, у почтового ящика перед ним.

Невысокого роста старичок вынул из кармана связку ключей, нашел нужный, отворил дверцу почтового ящика и, придерживая дверцу правой рукой, попытался ухватить целую стопку цветных брошюр левой... брошюры выскользнули, попадали на землю, разлетелись во все стороны.

Он, конечно, опередил старичка и бросился собирать их, в этот же момент оказавшись у почтового ящика, но не решаясь поднять глаза. Над головой что-то говорили по-фински.

Когда он распрямился, посмотрел на говорившего, на растерянную улыбку... – нет, это, конечно же, не был мужской иностранец из его детства. Или был? Как должен был выглядеть тот иностранец, давно исчезло из памяти, но вполне возможно, что именно так: сухопарый, с короткой серебристой бородкой и тонкими роговыми очками на крупноватом носу, за которыми светились смеющиеся глаза цвета дождливого неба. Дед что-то говорил на своем изобилующем гласными языке, а голос... да и голос вполне мог быть тем же, обычный мужской голос, немножко хриплый.

Просто призраку было явно меньше ста. А как раз сто – или сколько... сто десять? – было бы на данный момент пожилому мужскому иностранцу из *того* поезда, потому что тогда, пятьдесят лет назад, в 1960-м году прошлого века, пожилому владельцу растерянной улыбки и черносливовой трубки было столько, сколько этому сейчас.

– Unfortunately, I don't speak Finnish, my apologies! I am not

from here, I came from... Denmark. – Он улыбнулся: в этой ситуации от него явно не требовалось автобиографии. – I came from Denmark to pick up your papers!

И глаза цвета дождливого неба расхохотались.

– This is the reason! A really serious reason to come from Denmark, I am very much obliged to you...

Пришлось отвесить дурацкий поклон, полупомахать рукой и, уже направляясь своей дорогой, сказать:

– Bye-bye!

– Bye-bye-young-man.

Песенка из хельсинок.

Спокойствие, так *все* прощаются. Так все кому не лень прощаются, когда по-английски, – и без паники, пожалуйста. Ни в коем случае не оборачиваться, ни в коем случае ничего не затягивать, ничего не усугублять.

Зайдя за угол, он стер со щек слезы, остановился. Откуда слезы, ему пятьдесят шесть лет! Просто только что умер человек. Только что умер пожилой мужской иностранец с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой, который до сих пор, оказывается, был жив и, несмотря на свои сто десять лет, путешествовал, путешествовал, путешествовал – этакий герой Йонаса Йонассона... вот тоже бывают имена: в глазах двойтся! А выходило, что именно наличие в мире пожилого мужского иностранца с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой гарантировало миру покой и порядок. Все шло своим чередом, одно событие было следствием другого – и

даже если иногда возникало впечатление, что жизнь как с цепи сорвалась, впечатление это, вне всякого сомнения, было поспешным, ибо в конце концов события так или иначе уравновешивали друг друга, выстраивались в затылок, и причиной тому всякий раз оказывался пожилой мужской иностранец с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой. А по-сему ничего не могло случиться с нами, ничего страшного, ничего плохого – в любом случае, ничего непоправимого.

Но вот теперь он умер, и совершенно непонятно, что будет дальше со всем миром.

Вокруг был Хельсинки. Светило солнце, горели кресты и купола, блестели окна и мостовые. И никто пока не знал о том, что всё уже не так. Что выбита из-под ног последняя опора. И что теперь может случиться всякое.

Только в Исландии извергался вулкан.

Бабушка покойной жены моей В. Ф. (рожденной княжны Масальской) Ирина Логиновна Богаевская, супруга бывшего оберъ-секретаря правительствующего сената и известного в свое время литератора, Ивана Ивановича Богаевского, въ самой старости своей (в 1830 году) сохраняла еще слѣды необыкновенной красоты, а въ первые годы замужества, по отзыву ея современников, могла считаться одною изъ первыхъ красавицъ въ столицѣ.

Однажды, въ царствоваше императора Павла она ехала въ карете навестить свою опасно больную пріятельницу, Полуектову, и на дороге неожиданно встретила государя, ѣхавша-

го въ сопровождены Кутайсова. — По установленному въ то время обычаю, едупце въ каретахъ должны были останавливаться при встрече императора. Слуга, стоящш позади кареты, долженъ былъ немедленно соскочить съ запятокъ и отпереть дверцу кареты, и кто бы ни ѣхаль въ ней, и какое бы ни было время, долженъ былъ выдти изъ кареты и, сбросивъ съ себя верхнюю одежду, спуститься на подножку для поклона его величеству. Дамы не были освобождены отъ этого, и молодая Богаевская должна была подчиниться уставу. Государь остановился, внимательно посмотрел на нее, и съ особенною благосклонностью отвѣчалъ на поклонъ ея. — Отѣхавъ нисколько шаговъ, онъ послалъ Кутайсова осведомиться о фамилш повстречавшейся дамы и о месте ея жительства. Кутайсовъ стремительно подскакалъ къ стеклу кареты, снова остановилъ ее, и испуганная Богаевская, в замешательстве, на вопросъ его промолвила фамилш пріятельницы, къ которой она ехала, а на вопросъ о жительстве назвавшись ея именемъ, указала и домъ ея. Заметивъ испугъ молодой дамы, Кутайсовъ доложилъ и объ этомъ государю, а Богаевская, отложивъ посещеше больной пріятельницы, отправилась прямо домой и рассказала о всемъ мужу.

На другой же день, по повелешю государя, Кутайсовъ отправленъ былъ узнать о здоровьи Полуектовой. Каково же было удивлеше его, когда ему отвечали, что она скончалась. Это известхе еще более изумило и огорчило государя и Кутайсовъ долженъ былъ несколько разъ повторять ему, что

онъ самъ видѣлъ въ домѣ печальный приготовлешя, и что покойная неузнаваема. Это навело императора на размышлешя о превратности человеческой жизни и странной игрѣ случая. Къ счастью, что торопливый Кутайсовъ при освѣдомленш не пускался въ дальше расспросы, которые легко бы привели к разгадкѣ неожиданнаго случая. Между гѣмъ Богаевсюе, узнавъ о смерти ихъ пріятельницы и встревоженные отвѣтомъ на освѣдомлеше государя, распорядились закрыть ставни своего дома и решились немедленно отправиться въ свою деревню, гдѣ прожили два летше месяца, а возвратясь въ городъ Богаевская еще три месяца никуда не выгѣзжала изъ дома, опасаясь последствий своей встречи и остерегалась встретиться снова съ высокимъ цѣнителемъ красоты<sup>[3]</sup>.

– Ты почему опять звонишь? – Маме трудно угодить.

– Я же обещал позвонить из Берлина, странный вопрос. Вот, Польшу проехали, ну и – звоню из Берлина... не надо было?

– Тетя Лида звонила уже, все рассказала.

– Что «все»?

– Ну, как ты выглядишь и так далее.

– И как же я выгляжу?

– Она говорит, что ты усталый и что чемодан тяжелый. Ты же обещал все в Москве оставить.

– Я и оставил... часть.

Они еще про что-то поговорили с мамой – словно по минному полю прошли. Он не понимал вообще, куда двигать-

ся, но мама провела его по минному полю сама: скорее всего, не видя, что вокруг минное поле.

Вот вам, стало быть, и Берлин – заказывали?

Сильно засосало под ложечкой, ощущение самотождественности пропало полностью. Он посмотрел сначала вокруг, потом на часы – зафиксировав: ощущение самотождественности полностью пропало в Хельсинки, в три часа дня... в три часа десять минут, если быть совсем точным. Странно, как это маму не удивило, что он всю Польшу за полдня промахнул и уже встречен тетей Лидой с мужем, непонятным образом высчитавшими время прибытия поезда. Его поезда! Поезда, которого – нет.

Между тем тетя Лида не тот человек, с которым играют в игры. И уж тем более не тот человек, который играет в игры. Как и муж тети Лиды: этот-то просто производил впечатление человека, навсегда наигравшегося в раннем детстве и, видимо, давным-давно забывшего даже само слово «игра». Впрочем, с мужем они за последние лет тридцать виделись всего один раз, да и с самой тетей Лидой – сколько?., раза два или три как следует и еще два или три – совсем мимоходом. Он – вообще-то – мог бы узнать ее в толпе? А она его?

Сейчас он думает не туда. Всякие недоразумения исключены. Даже если тетя Лида обозналась, то странно представить себе совершенно постороннего человека, вдруг согласившегося играть роль старого знакомого тети Лиды: не бывает таких людей, ибо от тети Лиды и от мужа ее бегут круж-

ными путями, даже состоя с ними в нежнейшей дружбе. Нет-нет, какие недоразумения, помилуйте!..

Тем более что тетя Лида уже «все рассказала». Маме. Рассказала бы тогда и ему, что ли... – просто чтобы знать, как теперь из этого выкручиваться. Притом что и сил никаких выкручиваться – нету: он только что похоронил человека, ох, сильно дорогого ему человека... стодесятилетнего мужского иностранца с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой, прямо в Хельсинки и похоронил, все как надо. Где ж тут Берлин-то, милые люди...

И все-таки сейчас он в Берлине, и там его – противу воли – встречают, наблюдают, расспрашивают, гуляют, кормят. Интересно, где именно? Небось, на Курфюрстендамм... там одни русские, где ж еще бывать тете Лиде с мужем! Живут в Хеллерсдорфе, променады совершают по Курфюрстендамм – схема известная. Сидим, значит, едим колбаски, запиваем хайнекеном... Тетя Лида, услышав его переброс шуточками с официанткой, говорит, что немецкий у него nicht schlecht... спасибо-тетя-Лида-за-комплимент: Вам только его немецкий и оценивать – особенно как nicht schlecht. Ох-хо-хо... Потом ему, понятно, предложат прокатиться в Шпандау – он ведь хочет посмотреть на завод BMW, на Siemens? Это уж само собой: он, как и всякий нормальный человек, без ума от Шпандау, вперед! Можно еще в зоопарк сходить: пусть будет совсем культурно...

На экране вибрирующего мобильного (звук отключен)

светится имя Фердинанд. У Фердинанда, видимо, антенна во лбу. Зачем-то сообщает, что они с Хильдегард только что говорили о нем в одной таверне – кто такая Хильдегард, оказывается, неважно – жалко, что в мюнхенской таверне, потому что (эх, была не была!) он сейчас как раз в Берлине – нет, проездом – завтра в Копенгаген – вулканическое облако, понимаешь ли...

В общем, бред, бред, бред.

И он не знает, что делать.

Он даже не знает, где он.

Он даже не знает, кто он.

Прямо как в старом анекдоте: заночевавший в маленьком городе ковбой просит разбудить его в шесть – и, разбуженный, отправляется дальше, пока на пути не обозначается некий салун, пытается войти, но не пускают, тут только для белых... в растерянности смотрится в оконное стекло и обнаруживает, что он чернокожий, – вот черт, не того разбудили!

Этот анекдот он помнит со школьных времен, не потому что такой смешной, а потому что совершенно загадочный. Не менее, пожалуй, загадочный, чем Чжоу и бабочка, хотя куда уж загадочней. Правда, Чжоу и бабочка навещают его чаще, гораздо чаще. Милая такая пара сущностей, навсегда потерявшихся друг в друге...

Так как там насчет Берлина? Ах да, Фердинанд из Мюнхена звонил. Как Фердинанд мог говорить о нем с Хильдегард,

когда Хильдегард его в глаза не видела, вот тоже чудак-человек-Фердинанд!

– Entschuldigung, ich kan hören, dass Sie Deutsch sprechen... wie finde ich Senatsplatz, bitte?

(Сенатская площадь... словно они в Питере! Впрочем, может, и в Питере – чем черт теперь уже не шутит.)

– Bin fremd hier... leider. Um Verzeihung!

Слава Богу, что кто-то слышал, как он говорит по-немецки: на секундочку ему показалось, будто разговор с Фердинандом происходил по-русски, чего решительно не могло быть... Фердинанд и по-немецки с трудом объясняется, тоненькая философствующая Амалия так и так была Фердинанду не по зубам, пусть лучше с Хильдегард, ну и имена ему достаются!

Грустно, что Фердинанд не в Берлине – пошатались бы вместе... уж, конечно бы, не в Шпандау! Das Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, ничего лучше нет в Берлине, ему и на сей раз никак этого кафе не миновать – да что ж это такое... на какой – на се и раз, когда нет никакого *сега* раза! И нет никакого Берлина, кроме того, который в мозгу – у него в мозгу и у тети Лиды с мужем, вот незадача... И у мамы. Кстати, вообще непонятно уже, кто кому голову дурит и кто с кем в сговоре. Посмотреть бы на... знать бы еще голубчика – гуляющего по Шпандау в малособлазнительном обществе тети Лиды с мужем, что за персонаж? Хотя... по случаю приобрести знакомых в Берлине – худо ли?

Впрочем, полностью исключать вероятность того, что это не он сам, все-таки нельзя... oder?

Но маме-то, получается, и звонить теперь опасно? Он же не знает, каким утехам предается в теплой компании тети Лиды... знает об этом сейчас только тетя Лида! Ну и муж ее... который не в счет, муж всегда не в счет, у него даже имени нет, одна должность – муж. Очень желательно не разрушить ничего в сооружениях, возводимых бойким умом тети Лиды, так что лучше и правда не звонить маме. Пусть она сама звонит... вот и звонит уже.

– Ну как тебе Шпандау?

Мне Шпандау – никак! Я хочу в Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, я хочу разговаривать с тоненькой философствующей Амалией о различии в понятиях «мистика» и «игра», Амалия понимает про это, и что же он, дурак, не спросил ее, в чем состоит все-таки различие, догадывался же, что не навек она при Фердинанде, недолго ей при Фердинанде. Но Амалии нету больше, вместо нее теперь Хильдегард, так Фердинанду и надо... но зато есть Манон, надо найти Манон!

Иногда он с ужасом признавался себе, что любит Манон. Он не понимал, как такое могло случиться: они познакомились тогда, когда в жизни его давным-давно уже была Кит, которую он любил и которую все еще любит. Но он любил и Манон – и объяснений этому явному противоречию не находил. Одно и то же слово «любить» не могло одновремен-

но обозначать и его отношение к Манон, и его отношение к Кит... а обозначало! При том, что отношение было разное, при том, что с Кит он видится постоянно, а с Манон встретился только один раз, во время первого своего Берлина.

И все-таки он любит Манон. Странно, что любить Манон не означает не любить Кит, в то время как любить Кит исключает любить Манон – только он опять не знает этому объяснения. Уже на второй день он рассказал Манон про Кит, но Кит так до сих пор и не знает о существовании Манон. Не потому, что Кит не сможет понять, Кит понимает всё, а потому, что его отношения с Манон никого, черт побери, не касаются. Ему часто кажется, что они не касаются даже их самих – его и Манон, но это уже полная глупость.

Единственный, кому он рассказал о Манон, – Торульф. Совсем немножко и рассказал-то, да Торульфу и немножко хватило, чтобы, барабаня пальцами по коленке, заключить: вам обоим сильно повезло, что вы так далеко друг от друга!

Он и сам знал: в этом им с Манон действительно повезло. И хоть от Копенгагена до Берлина рукой подать, разделяет их, к счастью, не только география. Если бы только география, они бы плюнули на географию и давно бы умерли в объятиях друг друга.

– Ты знаешь, что я никогда никого не любила? – сказала ему Манон (она говорила по-немецки с неидентифицируемым акцентом), выбираясь из-под простыни в придурочный халат, сплошь состоявший из разноцветных кистей, каждая

из которых качалась сама по себе.

– Знаю, – сказал он. – Ты умерла бы, если бы полюбила кого-нибудь. Это применительно к тебе неблагоприятное для жизни состояние.

– Я уже умирала два раза – от другого, правда. А потом стала такая, как есть. Скала.

Он с самого начала был уверен в том, что у Манон – единственной в мире – двойника не имеется. Ибо Манон – это ошибка. Увидев ее в берлинском кабаре, он на минутку даже не понял, какого она пола. Бритое наголо существо, собранное из нескольких длинных костей, болтающихся под бескрайним балахоном Пьеро. Ко всему безразличные глаза, вообще лишённые и блеска, и, кажется, даже способности следить за перемещением предметов в пространстве. Носикочка, модильяниевский, непонятно где начинающийся и кончающийся. Тонкие, почти отсутствующие губы. Дальше идет шея, шея, шея – и когда уже кажется, что больше ничего не будет, возникают и тут же пропадают два намека на плечи, после которых остается только сухая длина – верхних конечностей, долго перетекающих в нижние.

Фактически не тело. Фактически – луч.

Если бы не потрясающей одухотворенности лицо, Манон легко могла бы играть инопланетянина в американских сайенс-фикшн.

Он не переставал смотреть на нее даже после того, как кончился номер (Манон была мимом... мимессой и всегда

открывала шоу маленькой грациозной пантомимой, а потом оказывалось, что дело не в пантомиме), и она пошла по рукам – это было ее собственное выражение, означавшее подсаживаться к столикам и недолго, минут по пять-десять, сидеть за каждым, не произнося ни слова. Завсегдатаи кабаре хорошо знали, что это тоже часть шоу, и даже не пытались взаимодействовать с Манон – либо вовсе, значит, игнорируя присутствие мимессы, либо дружелюбно учитывая его: тогда Манон наливали немножко вина, или пива, или минеральной воды, не озабочиваясь тем, выпьет она чего-нибудь или нет. Манон никогда не прикасалась ни к чему. Новички же, увидев, как она подсаживается к их столику, нервничали, вызывали ее на разговор, задавали вопросы, требовали ответов, безуспешно звали бармена, некоторые даже покидали кабаре – тихо или шумно, кто как. Но поведение посетителей совсем, казалось, не трогало Манон, она продолжала молча сидеть у стола в каждый раз заново выбранной позе, их у нее было миллион – и смотреть перед собой безразличными погасшими глазами. По прошествии нескольких минут Манон поднималась, бросала общий взгляд поверх голов и уже через пару секунд непонятно каким, неким метафизическим образом оказывалась у следующего, чаще отдаленного, столика, подсаживаясь к новой группе гостей.

Идея показалась ему гениальной. Бесшумное и почти перестававшее замечаться перемещение («мерцание», сказал он себе) Пьеро от столика к столику с недолгой задержкой

возле каждого превращало все вокруг в серию сцен, в живые картины, в ком-по-зи-ци-и, на ходу создаваемые бредящим художником, играющим духом, шалящим медиумом, и разница между искусством и жизнью – маленькой плоской сценической кабаре, на которой то и дело что-то происходило, и собственно залом, где царила Манон, – все размывалась, размывалась, размывалась... и вдруг пропадала полностью.

Когда Манон «пошла по рукам», ему уже шепнули, что обращать на нее внимания не надо.

Но он не смог. Скорее наоборот, он был *весь* внимание. Он не отрывал от нее глаз. Белый призрак передвигался и перекраивал пространство: не то бесплотный архитектор, чей материал – разреженный, но поддающийся сгущению воздух, не то плотный буддийский монах, сметающий рукавом только что созданный из цветного песка узор.

Подсев к их столику, Манон обратила неподвижные свои глаза на него. В глазах ничего не было – словно Манон пребывала в состоянии медитации. Ему стало не по себе.

– Не дрейфь, – громко, не стесняясь присутствия Манон, сказал Хельмут, – она не видит тебя.

Сделалось неловко за Хельмута: видит или не видит, но обсуждать Манон так, словно ее нет (да еще и в третьем лице), некрасиво. Пусть даже Манон – часть интерьера, как обозначил ее роль в пространстве развязный Хельмут.

– Пожалуйста, извините, – сказал он Манон.

– Она всегда молчит, – опять встрял Хельмут. – Ее даже

один дурак...

– ...вроде тебя, – поспешил заметить он.

– ...вроде меня, – охотно и добродушно присоединился Хельмут, – в прошлом году, на Сильвестр, зажигалкой поджег, балахон вспыхнул, волосы, кошмар... она и тогда ни звука не издала. Потом в больнице долго лежала, мы к ней, как на работу, ходили всем кабаком. Это с тех пор она бритая, – Хельмут склонился к сидевшей в позе мыслителя Манон и со всевозможной осторожностью поцеловал ее в макушку.

Получалось, дураком-то был он, а не Хельмут.

То, что потом он как-то оказался под одной простыней с Манон у нее дома, было и непонятно, и неважно. Он даже не помнил, что там происходило, под этой простыней, но так, как они говорили с Манон, он не говорил еще ни с кем в жизни. Они говорили вечер, ночь, день, сделали перерыв на выступление Манон в кабаре, отменили последующие выступления, вернулись к ней и говорили опять и опять... четверо суток, беспрерывно. Ели они что-нибудь, пили? Он не помнил. Они могли бы заговориться насмерть, ибо такова была их форма любви: любовь-речь.

– Давай теперь не скоро встретимся, – сказала Манон перед самым его отлетом в Копенгаген. – Не то я точно умру, а мне еще рано. Я сама объявлюсь, ладно?

Больше они не встретились никогда. *Пока* никогда, у «никогда» тоже есть ограничения.

Уехав из Берлина, он знал все о Манон. Все, кроме фамилии, возраста, образования, национальной принадлежности, семьи, из которой она происходила, круга друзей, заработка, распорядка жизни и номера телефона.

Он вздохнул – и позвонил Хельмуту.

Хельмут сказал, что Манон нет в Берлине, что кабаре на гастролях... эээ, чуть ли, кстати, не в Дании, а зачем тебе, ты в Берлине?

– Я *не* в Берлине, – через силу сказал он.

Хельмут явно не поверил: слишком под ударением оказалось «не».

Да он и сам себе не поверил. Только что, во всяком случае, он был в Берлине вместе с Манон. И, кажется, даже еще не успел вернуться.

Но надо сосредоточиться на Хельсинки: он все-таки впервые в этом городе – и не абы каком городе, а городе, с которым связано чуть ли не самое дорогое его воспоминание.

Он с удивлением обнаружил, что сидит возле кафе «Европа» – не в самом кафе, а на улице, куда для любителей воздуха, редких в это прохладное время, было вынесено всего два столика, и что перед ним – еще теплые круассаны безупречной формы и чашка кофе со сливками. Интересно, он уже заплатил за все это?

– Sorry, did I pay for... everything?

– I think so, thank you.

В крайнем случае, можно принять это за положительный

ответ.

Здесь же когда-то сидел, наверное, и его старый знакомец со своей черносливовой трубкой и растерянной улыбкой: Хельсинки, небось, консервативный довольно город, в котором не часто что-нибудь меняется – включая местоположение кофеен. Старый знакомец пил кофе, дымил черносливовой трубкой, а растерянная улыбка... – ею он одаривал прохожих, ибо делать с растерянной улыбкой больше нечего. И был он всего-навсего какой-нибудь скучный пенсионер – вроде, вот, соседа справа, только что появившегося за вторым столиком, но, казалось, уже прошедшего здесь весь день: жизнь почти прошла, единственная радость – выбраться в город, посидеть за некрепким кофе – латтэ, например, полистать газету, поглазеть вокруг, а там уж и обед... послеобеденный сон, вечер у телевизора, ночь... И не знал тот черносливовый господин, что сколько-то и столько-то лет назад в мгновение ока перекроил всю жизнь совершенно постороннего ребенка, и видевшего-то его одну минуту (стоянка-поезда-одна-минута)... огромная ответственность, между прочим. Ответственность, о которой не знал черносливовый господин, ибо для него проезд через ночную Тверь событием не был. Вот и сосед справа: сколько жизней задел он? Знает ли он, что когда-нибудь там, где задают последние вопросы, подведут к нему шестилетнего мальчишку с испуганными глазами, чья жизнь много-премного лет назад свернула из-за него в сторону и побежала совсем в другом направ-

лении?

Да и сам он, своим «Hej med dig» на платформе в Твери... – какие тектонические слои тронул он? И не раздастся ли уже сейчас где-нибудь поблизости шум обвала? Эх, Мальчиш-Кибальчиш, приложи ухо к земле: не слышна ли конница?

А вот улица, значит, маловыразительная... и вообще все тут, в Хельсинки – прости, дорогой ему город! – могло бы быть и поинтереснее, не то чтобы упрек, совсем не упрек, упаси Боже, но просто жившие в нем все то время Хельсинки, те Хельсинки, куда шел детский поезд, были очень сильно другие. Огромный город из раннего Средневековья, с готикой на каждом шагу, с улочками шириной в одно копьё, с бесчисленными фахверками, с компактными золотыми путти на фасадах и с длинными золотыми мадоннами в нишах – и, конечно, с множеством флюгеров самой что ни на есть причудливой формы на уходящих в небо серебряных иглах. Этой картины не отменило даже впоследствии пришедшее из книг сведение о том, что в Хельсинки – ровно в той же степени и по той же причине искусственном, что и Санкт-Петербург, городе – просто не могло быть ничего старше XVIII века, когда и застраивался сей финский порт стратегического назначения, ах, наплевать, что не могло, а было! В его хельсинках – было. Тут же – нет ничего, вообще ничего. Просто маленький Питер... то есть как: если Питер – город для больших торжеств, этот – для торжеств небольших, ти-

па семейных посиделок по случаю удачного написания контрольной по арифметике за вторую четверть третьего класса. Но тоже торжество, понятно. Вот для таких торжеств Хельсинки и предназначен. Лестница, правда, тут еще есть, при Кафедральном соборе (надо бы найти немедленно) – она, говорят колоссальная, по ней только в рай подниматься, Хельсинки-лесенки... песенки. Только кому ж такое в голову может прийти: подниматься в рай – из Хельсинки?

Ему одному и могло прийти – давно в детстве, когда казалось... ох, много чего казалось! Так и собирающимся на житье за границу всегда много чего кажется. На то и железный занавес в свое время висел, чтобы казалось всякое, – и казалось. Странно одно: что даже сегодня кажется. Впрочем, чего ж тут странного, если издалека-то... издалека ведь не разглядишь. Там, далеко, только слухами ведь и живут: есть, говорят, молочные реки с кисельными берегами... А вот взять хоть и его Данию: не то что молочной – никакой же реки вовсе нету! На целую страну ни одной реки, и ничего не сделаешь: небесная канцелярия не выписала. Сказала: страна у вас маленькая, обойдетесь без рек. Откуда ж кисельные берега, сами-то посудите.

Так и Хельсинки, куда черносливовый господин ехал, оказывается – вот прямо в данный момент и оказывается – отнюдь не тем местом, куда черносливовые господини *должны* ездить. Или, может быть, сам он просто не там прогуливается? Да и по Хельсинки ли прогуливается? Сказать по со-

вести, он последние два часа, скорее, по Берлину прогуливался, чем по Хельсинки: находился, то есть, в Хельсинки, а прогуливался – по Берлину. Да похоже, что и не пускает его в себя Хельсинки. Похоже, не открывается ему город: открылся было при Кате и – хлоп: закрылся... как ракушка.

Дело, похоже, действительно в том, что его здесь нет. Его нет в Хельсинки, спросите маму, спросите тетю Лиду с мужем, спросите кого угодно – кроме, конечно, пятерых самых своих. Любой скажет, что его здесь нет.

Какой там Кафедральный собор... ни одна из дорог не вела к Кафедральному собору. Приходилось слоняться по скучным улицам, вступающим друг с другом только и исключительно в перпендикулярные отношения... при том, что и прохожих стало вдруг совсем мало.

Самое странное, что даже к морю выйти не удавалось: море-то где? Город-порт и все такое... Да и Катя утром привезла его к самому морю – ему туда, кстати, еще возвращаться, чтобы дальше до Стокгольма паромом плыть, вот незадача! Будто штрафовал его город: за то и штрафовал, что, находясь в Хельсинки, он по Берлину прогуливался, – откуда же в Берлине море? Не будет тебе никакого моря, мил-человек.

Мимо пролетело несколько русских слов. Обернулся: совсем молодая мама с дочкой. Он так и обратился к ним:

– Мама с дочкой, а мама с дочкой... где центр города, где море?

– Так это не тут, – сказали мама с дочкой, – это далеко-о-

о отсюда.

И начали так путанно все объяснять, что он тут же отключился. Выждал, поблагодарил – и принялся смс-ку в Москву латынью писать, чтобы на глазах у мамы с дочкой не пойти в направлении, противоположном указанному.

«Uzhe davno v Helsinki, – написал. – Ochen' krasivyj gorod. Как u tebjа?»

Дождался ответа. Ответ был странный... почти глупый: «По-разному».

Ну, по-разному так по-разному... чего ж?

Следом пришла вторая смс-ка – с вопросом: «Маме так и врать дальше? Тверь-то уже проехал. Она звонит все время».

Ответил: «Маше vrat' vseгда».

А в сердце своем добавил: «Osobenno teper', kogda ja nekim strannym obrazom guljaju po Berlinu v obschestve teti Lidy s muzhem». Но знать об этом никому не полагалось. Кроме тети Лиды с мужем. И мамы. И Торульфа. И, может быть, Манон. Но Манон нет сейчас в Берлине.

В Берлине сейчас он сам – и, не будь тети Лиды с мужем, очень легко мог бы сойти за местного. Однако в присутствии тети Лиды с мужем он иностранец.

Когда он был школьником младших классов (да чуть ли не почти и старших, если совсем уж честно – так честно, как не надо), до крайности занимала его одна игра... сказать стыдно. Он надевал на себя что-нибудь попричудливее – не совсем, слава Богу, причудливое, а так... среди имевшихся у

него брюк, например, выбирал те, что в выразительную клетку, плюс какой-нибудь из отцовских галстуков, ярких у отца, к сожалению, не водилось, но и «неброский» на девятилетием мальчишке – сенсация, для Твери, по крайней мере, ну и... рубашку с нарочно поднятым воротничком, а сама рубашка – навывпуск, и ремнем, тоже из отцовских, перепоясанная. Одевался, значит, во все такое и отправлялся «в город»... через тот самый железнодорожный переезд, где «Стоять!» и «Пропусти поезд!» Пропустит, стало быть, поезд и – вперед, к центру, а уж там... Там он был – страшно произнести! – иностранцем. Проявлялось это, прежде всего, в том, что он все время вертел головой в разные стороны – якобы любуясь городской архитектурой. Надолго останавливался то у одного, то у другого здания, выбирая какие позымысловатее... вынимал записную книжку, карандаш, делал наброски «для памяти». Впрочем, самое-то оно было не в этом, а в том, что он переставал говорить по-русски и начал говорить «на иностранном языке». На иностранном языке, который придумал сам: просто набор звуков (по определению, русских!) в непривычной последовательности. Жертву специально не выбирал – годился любой прохожий, перед которым он резко останавливался и, глядя прямо в глаза, задавал вопрос:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

# Комментарии

1.

Spørgsmål til romanen «Hvad skete der med hr. Å?» – Vibeke Ovesen. Hvad skete der med hr. Å? København, Specialt forlag, 1996.

2.

Chanson populaire française sur Duc de Marlborough (début du 18e siècle) – Chants et chansons populaires françaises. Moscou, Huguenot, 2001.

3.

Разсказъ изъ времянь императора Павла (Сообщ. Б. М. Федоровъ). // Русская старина, 1871, Т. IV, № 9.